

ФРИДЬЕШ КАРИНТИ

Путешествие вокруг моего черепа



Магистраль. Главный тренд

Фридьеш Каринти

Путешествие вокруг моего черепа

«ЭКСМО»

1937

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44

Каринти Ф.

Путешествие вокруг моего черепа / Ф. Каринти — «Эксмо»,
1937 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-247804-8

Фридьеш Каринти – самый известный юморист своего поколения, автор популярных пародий на классиков венгерской и мировой литературы, энциклопедически образованный журналист и человек-праздник, автор одного из самых личных текстов – основанного на собственном опыте романа о болезни, операции и выздоровлении. Однажды, сидя в кафе «Централ» на Университетской площади и разгадывая кроссворд, писатель вдруг слышит стук колес поезда и понимает, что у него галлюцинации. Как выясняется, их вызывает опухоль мозга. Герою приходится выбирать между верной смертью и рискованной операцией в далекой Швеции у знаменитого профессора.

УДК 821.511.141-31

ББК 84(4Вен)-44

ISBN 978-5-04-247804-8

© Каринти Ф., 1937

© Эксмо, 1937

Содержание

Предисловие, где я первым делом постараюсь объяснить, чего ради выкладываю читателю все перипетии этой злополучной истории	6
Незримые поезда	9
Узкопленочный фильм	11
Короткие недели и одно долгое мгновенье	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Фридьеш Каринти

Путешествие вокруг моего черепа

Frigyes Karinthy

UTAZÁS A KORONYÁM KÖRÜL

Художественное оформление серии *Натальи Портяной*.

© Воронкина Т. И., перевод на русский язык. Наследники, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Присовокупляя свою книгу к легендам и мифам, я посвящаю ее благородной, истинной науке, которая никогда не оказывалась столь нетерпима по отношению к суеверию, сколь суеверие – по отношению к ней.

Предисловие, где я первым делом постараюсь объяснить, чего ради выкладываю читателю все перипетии этой злополучной истории

Но с другой стороны и главным образом, мне необходимо как-то истолковать тот факт, что я вынужден оправдываться в естественном и самоочевидном поступке, а именно: писатель вздумал рассказать о некоем событии, которое может произойти с каждым, пользуясь тем исключительным преимуществом, что в данном случае оно произошло как раз с ним. Прежде всего расквитаемся с уймой оправдывающих обстоятельств, скопившихся по последнему поводу. Я вынужден возвратиться к этому вопросу, наученный горьким опытом последних недель: в разговорах с собратьями по перу и с редакторами неоднократно возникал вопрос – правильно и разумно ли со стороны весьма известного писателя избирать литературной темой собственные переживания, к тому же и без того известные читателю, а стало быть, утратившие свою заманчивость и актуальность. Что касается разумности... то я, знаете ли, не считаю, будто в нашем писательском деле все правильно, что разумно. В подобном подходе – с опаской да с оглядкой – на мой взгляд, чересчур много от литературной политики.

В обычные времена, когда не приходилось вести столь ожесточенную борьбу, чтобы утвердиться в литературе и закрепить за собой достигнутые позиции, читатель узнавал от писателя то, что его интересует, а не наоборот. Возможно, спрос был больше? Но ведь в нашей профессии не проявляется с такой очевидностью важнейший экономический закон, и именно поэтому лишен смысла коммерческий подход, именуемый эффектным термином «литературной политики». Вот я и предпочитаю с легкостью отмахнуться от всех этих осторожных рассуждений на тему, прилично или не прилично (выгодно или не выгодно) писателю, который не только тешит публику лирическими стихами, но и заставляет прислушиваться к своим общественной значимости мыслям, избирать себя героем романа – романа в высшей степени фантастического и созданного самой действительностью. Помимо соображений приличия и выгоды – и в этом главное мое самооправдание – мне действительно пришлось преодолеть немалое внутреннее сопротивление, прежде чем я решил взяться за описание своей стокгольмской авантюры. Ведь если даже я и не стал скрупулезно доискиваться, чего от меня ждут другие, то, поверьте, я крепко раздумываю над тем, чего я жду от самого себя.

Одно ясно наверняка: я ожидаю большего, нежели требуется от нас для откровенного обнажения собственной жизни. Мне так много следовало бы написать, используя накопленные наблюдения о внешнем мире, а в особенности сейчас, когда я получил отсрочку для приведения в порядок неоконченных дел! И если уж у нас зашла речь о людях как предмете литературных изысканий, то на свете столько людей куда более интересных, чем я. Эти соображения, вынесенные на суд моего трезвого рассудка, казались гораздо важнее и настоятельнее, нежели сугубо личная исповедь. Но тут вступило в силу одно весьма необычное явление, на которое я, признаться, не рассчитывал. Оказалось – а я никогда раньше не предполагал это в такой степени, – что быть писателем совсем не легкая штука: это не только титул, но и тяжкая кабала, внутреннее побуждение, способное в решающем случае проявить себя вопреки нашей воле. Я вовсе не собирался заниматься своей пресловутой болезнью уже хотя бы потому, что человек, как известно, стремится поскорее забыть неприятное и опасное переживание, оставшееся позади. Человек – да, но не писатель! Жгучая потребность запечатлеть пережитое терзала меня подобно сопутствующей болезни, не излечившись от которой я не смогу окончательно избавиться и от основной.

Recipe verbum¹ – вместо устных слов знахарского заговора письменное изложение служит снадобьем, эликсиром забвения в той удивительной аптеке, которую носит в своей душе несчастный художник пера. Судя по всему, я оказался прав, когда в одной из своих претенциозных рапсодий назвал жизнь писателя с момента его рождения и вплоть до последнего дня – вкупе с выпавшими на его долю любовью, муками и наслаждением – учебным материалом, по которому после смерти ему придется держать экзамен перед некоей безвестной комиссией. Интуитивно – а сейчас в особенности отчетливо – я чувствую, что всегда, когда я описывал какое-либо переживание, меня заставлял браться за перо именно страх перед этим экзаменом; немало радости отравило мне, но и немало страданий смягчило потаенное внутреннее внимание, вынуждавшее меня не только пережить то, что происходит со мною, но и запечатлеть его для других. Сейчас, когда я в действительности переступил первые врата «Небесного репортажа» (разве не удивительно, что и сам-то этот роман я писал в то время, когда болезнь уже угнездилась во мне?), после возвращения оттуда я обнаруживаю в своей репортерской сумке целый ряд моментальных снимков: я должен проявить их, иначе всю жизнь мучился бы угрызениями совести, сознавая, что позволил пропасть среди них хотя бы одной такой фотографии, о реальном объекте которой прежде ничего не знал ни я сам, ни другие.

Что же касается приличествующей скромности, каковая желает удержать меня от намерения заняться собственной персоной...

Плевать я на нее хотел, на свою скромность. Однажды я уже высказал мысль о том, что скромным могу быть только я сам, но отнюдь не мое мнение; ему надлежит быть скромным в такой же малой степени, как сформулированному кротким и целомудренно-застенчивым Ньютоном знаменитому биному, выражающему самое что ни на есть нескромное мнение на свете, поскольку оно претендует на всеобщую значимость, или как рекламе лекарственного изобретения, призванного помочь людям.

Судя по всему, это распространяется не только на наше мнение, но и на наши переживания, если они не просто личные, но человеческие.

Итак, в дальнейшем предоставляю читателю самому судить, в какой степени удалось мне соблюсти в противовес врожденной докторской деликатности столь же врожденную неделикатность пациента.

Ну, и еще одно напутствие.

Вышеприведенные строки адресованы интеллигентному читателю, нижеследующие же – всем прочим, кто возьмет в руки эту книгу и по отношению к кому я также желаю быть предупредительным, не зная заранее, какой именно читательский слой окажется в большинстве.

Хотя, по-моему, я достаточно ясно объяснил, почему принимаюсь за этот роман, сейчас все же признаюсь по совести: я никогда не решился бы на это, если бы час назад не прочел в одной газете крайне правого толка заметку, обвиняющую меня в том, что своей болезнью и будапештским визитом знаменитого нейрохирурга я делаю себе рекламу. Слишком дешевым трюком было бы смиренно попросить автора заметки проделать вслед за мною путешествие в Стокгольм, завершившееся операцией, дабы самолично убедиться, достаточно ли рентабельны затраты для обычной рекламы. На подобное обвинение можно реагировать двояким способом: или оставить его незамеченным, не удостоив ни единым словом, или же ответить целой книгой.

Как видите, я предпочел последнее.

¹ Лечение словом (*лат.*).

Будапешт, 1936.

Незримые поезда

В марте этого года – должно быть, в десятых числах – я полдничал в кафе «Централь» на Университетской площади, сидя на своем привычном месте за столиком у окна, откуда открывается вид на библиотеку и некое отделение банка. Вывеска над входом в банк крупными буквами кратко извещает, что перед нами всего лишь «Дочернее предприятие», – и я вот уже в который раз задумываюсь над тем, не истолкует ли превратно эту надпись неискушенный читатель, если к тому же фантазия его вращается в кругу семейных представлений; ведь проще простого спутать сие финансовое заведение с таким благотворительным пансионом, где юных девиц воспитывают в почтении равно как к родителям, так и к будущему своему предназначению – материнству. Меня-то, конечно, не проведешь: я потерял мать, когда мне исполнилось шесть лет, и мачеха-жизнь рано научила меня отличать денежную состоятельность от народного образования.

Теперь уж точно не припомнить, но подозреваю, что и в тот памятный день меня занимали скорее финансовые вопросы, а не забота о народном просвещении, долженствующая быть наипервейшей обязанностью публициста. Правда, обе эти стороны жизни вполне совместимы, в особенности для писателя. Ну, скажем, к примеру: я старался так и этак прикинуть, чем мне заняться в первую очередь – солидным исследованием о роли современного человека в обществе или настрочить трехактную пьесу, способную заполнить собою целый вечерний спектакль. В конце концов я решил сперва написать пьесу, с тем чтобы полученный от нее доход затем обеспечил мне возможность предаться научным изысканиям – не с кондачка и не наспех, а более продуманно и добросовестно, чем сочиняются пьесы.

Приняв такое решение, я облегченно вздохнул. Конечно, и перед написанием пьесы необходимо проделать определенную подготовительную работу: переговорить с директором театра, посмотреть несколько новомодных постановок, сориентироваться в общей направленности сезона, при случае потолковать с актерами. Приспела пора и мне заделаться театральным драматургом, как ни крутись, от этого не уйти. Я уже решился позвонить Д., когда меня вдруг осенило, что Пиранделло начал свою карьеру в пятьдесят шесть лет, однако это не помешало ему снискать большой успех. Мне удалось вовремя перехватить официанта, по моему поручению направившегося было к телефонному аппарату; ну, милые мои, если и в пятьдесят шесть еще не поздно, то я преспокойно успею закончить разгадывание кроссворда, к которому едва приступил. А надо сказать, что вот уже несколько лет кряду я постоянно разгадываю кроссворд, который раз в неделю публикует одна из наших газет: это вошло у меня в привычку, стало моей кабалой, и стоит мне пропустить хоть раз, как вся неделя кажется мне несчастливой. А меж тем кроссворды эти причиняли мне немало досады, поскольку господин заведующий рубрикой (не имею чести лично быть знакомым с ним) под заголовком «Поговорка» каждую неделю включает в кроссворд – и по вертикали, и по горизонтали – очередной афоризм. Все они как на подбор – сплошь превосходные, сочные народные поговорки, беда лишь в том, что в языке их не существует. Видимо, издатель сочиняет сам и из скромности или же художнического снобизма приписывает их народу, вроде Кальмана Тали² с его пресловутыми «подлинными» балладами куруцев. У него встречаются, например, такие «поговорки»: «Бабы слезы – что жменя проса», «Глаз с кривоною, а норов с привередою». Вот и извольте теперь себе представить, каково это разгадать в кроссворде присловье, которого сроду не слышал, да еще когда у тебя половины букв не хватает! Я уж подумывал о том, чтобы написать издателю разгневанное послание или прилюдно призвать его к ответу.

² *Тали Кальман* (1839–1909) – писатель-историк, поэт, политический деятель. В своем увлечении подлинно народной поэзией не останавливался перед самостоятельной авторской переработкой и фальсификацией источников.

Да, по всей вероятности, в тот момент меня обуревали подобные намерения, поскольку помню, до какой степени я был взвинчен. «Кто... пе... резви... неет и... дет!» – мыслимое ли дело из этих обрывков составить мало-мальски внятную поговорку? Не хочу обременять совесть своего коллеги предположением, будто бы и недуг-то мой, по сути, начался с того злополучного кроссворда (как выяснилось, болезнь возникла раньше), однако факт, что я готов был на стенку лезть от злости. Что это за чертовщина такая «...резви... неет и... дет»? Нет такой поговорки и быть не может! Я аж покраснел от усердия, пытаюсь реконструировать сей фольклорный перл сомнительной подлинности.

И в этот момент тронулись поезда. Точно, как по расписанию, в семь часов десять минут. Я удивленно вскинул голову. Что бы это значило?

Послышался натужный, медленный скрип – так скрипят колеса локомотива, приходя в движение, – затем все нарастающий грохот, вот поезд пронесется мимо меня, затем стук колес и гул постепенно стихают: точь-в-точь как в песне бурлаков «Эй, ухнем!».

Должно быть, грузовик проехал. Я возвращаюсь к расшифровке загадочной поговорки.

Но не тут-то было: минутой спустя отправляется следующий поезд, в точно таком же темпе. Зашипел, трогаясь с места, локомотив, прогрохотали колеса и стихли вдали.

Я раздраженно оборачиваюсь к окну, выходящему в переулок. С каких это пор тут стали ходить поезда? А может, это опробовали какое-то новое транспортное средство? В последний раз мне довелось видеть поезд на улицах Пешта в бытность мою семилетним мальчишкой: паровик ходил вдоль улицы Барош, где мы жили. С тех пор, насколько мне известно, в столице движутся лишь трамваи, да и то не по Университетской улице.

Не иначе как промчалась лавина автомобилей.

Я в третий раз вскинул голову и лишь на четвертом поезде сообразил, что у меня галлюцинация.

Ярко выраженных галлюцинаций со мной никогда не случалось; понятно, что с этой первой я не сразу смог разобраться. Зачастую, еще со времен детства, со мной бывало, что я, сидя дома, а в особенности бродя по улице, слышал, как кто-то зовет меня по имени. Очень тихий, едва различимый голос шепчет: «Фрици!» – словно желая меня предостеречь; но чаще оставалось впечатление, будто меня окликают какой-то давний знакомец, стесняющийся своей бедности настолько, что не решается позвать громко, вслух. Да и голос, казалось, вроде бы знакомый, вот только не знаю чей: кто-то из детской поры, забытый мною напрочь, какой-то дальний родственник – я считал его умершим, но он не умер, просто живет в нищете и скрывается, стыдясь этого, а сейчас ему необходимо срочно сообщить мне что-то, и после он опять тотчас же исчезнет. Поначалу я даже оборачивался на зов, но потом понял, что это проделки слуха, и подобные явления меня не тревожили; я знай себе шел дальше, не оборачиваясь, и даже свyksя, сроднился с загадочным голосом.

Но на сей раз со мною происходило совсем другое.

Звук был настойчивый, требовательный, сильный – шум поезда, причем настолько громкий, что заглушал реальные звуки; официант что-то говорит мне, а я не слышу.

Исходит этот звук не из окружающего внешнего мира – с удивлением констатирую я.

И как ни тшусь, а обнаружить источник звука не могу.

Тогда, значит...

Значит, он зарождается внутри меня, в моей голове.

Поскольку никаких других симптомов я не ощущаю, то шум этот не нахожу тревожным – всего лишь странным и непривычным.

Я убеждаюсь в том, что галлюцинирую. Однако с ума я не сошел, тотчас же добавляю я, иначе я не смог бы констатировать этот факт.

Тут нарушение какого-то иного характера.

Узкоплечный фильм

Ужинаю я дома; с января месяца мы с сынишкой ведем холостяцкую жизнь: его мать в Вене изучает фрейдизм и стажирuется по части неврологии в клинике Вагнера – Юрегга. За ужином заходит разговор о начертательной геометрии и физике, и я в качестве примера упоминаю такой сложный механизм, как человеческая конструкция. Цини, будучи всего лишь пятиклассником, не замечает, что, пускаясь в рассуждения о природе и жизни, я нередко использую его в качестве подопытного кролика: небрежно, будто речь идет о материале, который ему предстоит усвоить в старших классах, я попеременно с прописными школьными истинами подсовываю ему свои собственные теории, пока еще никому не известные, и пытаюсь опробовать их на нем. В данный момент его интересует механизм мышления, и я принимаюсь разглагольствовать об энграммах, о «проторенных» электрических путях в мозговом центре, об условных рефлексах и тут же – словно продолжаю говорить о вещах общеизвестных – сажусь на своего конька: теорию «автономной» деятельности человеческих органов. У каждого из наших органов в отдельности существуют свои специфические средства выражения, они умеют «говорить», нужно лишь понимать их язык. Приведа в пример самого себя, я выдаю за факт свое сокровенное желание (чем вам не аутизм?³): стоит только мне сосредоточиться и внимательно прислушаться к себе, и я с известной долей приближенности могу определить, в какой именно части мозга зарождается у меня та или иная мысль. Когда я произвожу подсчеты, забавляюсь игрой слов, разлагаю предмет или явление на составные части (то есть продельваю анализ), то какие-то процессы происходят здесь, впереди, в лобной части мозга: музыкальное восприятие, чувства, страсти (любовные – думаю я при этом, но не произношу вслух) возникают в задней части черепа. Я тотчас решаю про себя сегодня же, перед сном, продолжить в постели свои эксперименты: вот уже который год я внушаю себе, будто упорной тренировкой можно научиться изнутри управлять мыслями, приводить в движение ганглии, подобно тому как атлет управляет своими мускулами, а пианист – пальцами. Эта идея пришла мне в голову еще годы назад, как панацея против бессонницы: можно было бы засыпать без каких бы то ни было вспомогательных внешних средств, если бы удалось найти в воображаемом аппарате где-то поблизости от продолговатого мозга точку, мысленно нажав на которую ничего не стоило бы выключить весь центр, приподнять его над реальностью с помощью этакой Архимедовой спирали. Цини надоело выслушивать мои умствования, он переводит разговор на водное поло и сообщает, что занял первое место по прыжкам в высоту. Скромно, однако же не без некоторого хвастовства (скромничать теперь было бы с моей стороны нахальством; «Вам пока еще нечего скромничать», – одернул Ошват⁴ некоего начинающего поэта) я упоминаю о своих спортивных достижениях в молодости и в связи с этим замечая, что со времен скарлатины, которую я перенес в детстве, я ни разу ничем не болел (аппендицит не в счет). Разумеется, я втайне надеюсь снискать этим уважение Цини.

Мимолетным воспоминанием проскальзывают сегодняшние поезда, но я сразу же и забываю о них.

С утра уже к восьми ко мне являются за корректурой. Затем Денеш, мой секретарь, докладывает, что шкафчик для бумаг, который мне вчера посчастливилось приобрести по дешевке, надо отполировать, но лучше договориться об этом самолично, потому что мастера так и норовят обсчитать да надуть заказчика, а если я наведаюсь к ним собственной персоной,

³ Отрешение от действительности и погружение в мир внутренних переживаний, наблюдающееся при некоторых психических заболеваниях.

⁴ *Ошват Эрне* (1877–1929) – критик, видный литературный деятель, редактор журнала «Нюгат».

то, глядишь, и сделают за полцены. Я и в самом деле навещаю в мастерскую, разговариваю со столяром тоном доброжелательного превосходства, ввертывая просторечные выражения, как обычно при общении с людьми «из народа», однако моему самолюбию льстит, что мастер величает меня господином писателем, а стало быть, «признал» меня. Затем в кафе я наспех делаю наброски и к одиннадцати поспеваю в издательство, где мне предстоит составить сборник рассказов и подобрать название. Тут приходится как следует пораскинуть мозгами; я перелистываю оттиски, размышляя, какой бы рассказ поместить в начале, чтобы его названием озаглавить и всю книгу. Сперва выбор мой падает на рассказ под названием «Моя мать», но затем, и сам не знаю почему, я останавливаюсь на «Смеющихся больных», хотя этот вариант вовсе меня не устраивает. Помнится, когда мне попал в руки томик давних рассказов Костолани под названием «Больные», я еще тогда подумал, что писателю передовых убеждений подобают слова сильные и уверенные; не пристало нам на манер изнеженных импрессионистов блаженной предвоенной поры кичиться хворьями, признавая тем самым, что искусство в какой-то мере является болезненным состоянием, тогда как оно, совсем наоборот, олицетворяет собою особую, более высокую степень здоровья. После издательства я напрямик направляюсь в редакцию просить тему для репортажа, в приемной мы сталкиваемся с Б. и обсуждаем, что все же недурно было бы осуществить серию обзоров; если начать по весне, то к будущему Рождеству, глядишь, и раскатаемся. Вскрываю письмо от некоего литературного общества – меня приглашают прочесть лекцию. Я стараюсь подавить в себе угрызения совести: боже правый, сколько адресованных мне писем осталось без ответа, но сейчас не до того, непременно следует потолковать с директором театра, да и заручиться поддержкой министерства тоже не мешало бы, а кроме того, сегодня я должен раздобыть работу для Пали Сабадоша, мужа нашей домоправительницы Розы. К двум часам я наконец добираюсь домой, Цини за обедом всю душу измотал мне из-за какого-то журфикса, еще чего выдумал сопляк, с этих-то пор! После обеда я слышу, как Пали, сынишка нашей экономки, восхитительный крепыш с сочным, палочным выговором, только что поступивший в первый класс, усердно заучивает фразы по букварю. И тут вдруг слух мой улавливает слова: «Морицка читает, а Шамука пишет». Дай-ка на минутку мне твою книгу. Прекрасный, новехонький букварь со множеством картинок. Но что это? Померещилось мне или же попросту народное просвещение у нас сделалось куда как либерально, а я проморгал это новшество? На одной из картинок изображена семья, сидящая за праздничным столом, и у всех до единого на голове шляпы. Под картинкой помещен стишок, озаглавленный «Седер»⁵. Что же это за учебник такой интересный у тебя, Пали? Перелистываю в обратном порядке страницы, добираюсь до титула, и тут выясняется, что это учебник для еврейской церковной школы. Выспрашиваю Розы, а та, пожимая плечами, удивляется: она ничего знать не знает и ведать не ведает, пришла мальчонке пора учиться, она и определила его в школу, какая к дому поближе; школа опрятная, красивая, учительница такая добрая да славная, парень учится замечательно, круглый отличник, вот, правда, уроки закона божьего для католиков проводятся отдельно. Цини катается со смеху: выходит, Пали, ты еврейчонком заделался, отныне станем звать тебя Шмулем и изволь отращивать пейсы. Пали поначалу стойко отбивает нападки, но под конец разражается слезами: «Не хочу быть еврейчонком», – вопит он. Правда, вскоре успокаивается, шалит, катаясь по дивану, и, когда я щекочу его, он, давась смехом, выкрикивает: «Эй, полегче, еврейских детей обижать не положено!» Однако же он хорошо информирован.

Я ложусь вздремнуть, поскольку на четыре часа ко мне напросился некий молодой писатель: я, мол, должен сказать ему, есть ли у него талант и стоит ли ему заниматься литературой... Ну что ж, он узнает от меня, что талант у него есть, а посему пусть немедля кончает

⁵ Еврейский религиозный праздничный ритуал.

с литературными попытками, времена сейчас неблагоприятные. К пяти часам я решаю, что этот разговор можно перенести на завтрашнее утро, и отправляюсь в зоологический магазин, где уже несколько месяцев пытаюсь сторговаться насчет аквариума (или «антиквариума», как выражается Роза). Дорогой встречаю Лаци Фодора, превосходного драматурга, он что-то рассказывает мне о спиритических явлениях, а я интересуюсь экранизацией одной из его пьес. И тут спохватываюсь, что к шести часам я обещал явиться на вечер клуба кинолюбителей, где в интимном кругу устраивается показ великолепных узкоплечных фильмов, отснятых как нашими, так и зарубежными членами клуба. Я – страстный поклонник этого жанра, ибо вижу в нем будущее кинематографа, возможность поистине индивидуального искусства. Члены клуба радостно встречают меня и тотчас запускают проектор, демонстрируются несколько фильмов, удостоенных премии, съемки и впрямь изумительные: незатейливые приключения на побережье Испании, утренняя прогулка мальчика по лесу, а затем некая символическая рапсодия.

Ага, это обещает быть интересным! Фильм на медицинскую тему, отснятый американским любителем. Профессор Кушинг в своей бостонской клинике делает черепную операцию больному, страдающему эпилепсией Джексона. Смолodu я всяких операций насмотрелся, но такой мне видеть не доводилось, и я напряженно слежу за событиями на экране. У больного, привязанного к столу ремнями, видна лишь одна голова, и вот профессор начинает колдовать над нею: элегантными движениями прежде всего скальпирует ее, откидывая кожу к затылку, затем большим перфорационным сверлом продырявливает череп по кругу и снимает его с головы, будто шапку. Мозговую оболочку (она до того похожа на сетку для волос, что кажется неправдоподобной) хирург рассекает – изысканно, чисто, и теперь видно, как студенистая масса мозга подрагивает и бултыхается в костной чаше. Профессор вежливо отступает в сторону, чтобы не мешать работе кинооператора, поворачивается лицом к камере, улыбается в объектив. Я обращаюсь к зрителю слева, хладнокровно даю пояснения, дабы щегольнуть своей медицинской эрудицией. Но посреди фразы обнаруживаю, что говорю впустую: мой сосед потихоньку, на цыпочках, удалился из темного зала. Операция и впрямь чудовищная, хоть заснята не во всех подробностях; в зале нас осталось лишь пятеро, прочие не выдержали, я улыбаюсь с чувством собственного превосходства, смотрите, до чего закалены у меня нервы, – правда, меня с самого начала не отпускало подозрение, что мы являемся жертвой мистификации, немислимо представить, чтобы живой человек лежал до такой степени неподвижно, наверняка профессор делает показательную операцию на покойнике, и подозрение мое подтверждается еще и тем, что крови почти нет. Но все равно от зрелища этого мороз по коже продирает, можно только гордиться стойкостью моего желудка и нервов, поистине я умею владеть собой, однажды мне удалось досмотреть до конца даже сцену массового повешения. Один из пятерки стойких (психоаналитик и к тому же мой почитатель), наклонясь вперед, шепотом напоминает мне о моей давней теории относительно анатомии человеческого разума. По его мнению, идея чисто символична, однако я мягко возражаю, что когда-нибудь это будет достижимо и в действительности, на что он с улыбкой замечает, что здесь имеется небольшое противоречие, ведь для того, чтобы, к примеру, кто-либо решился на подобную операцию, прежде понадобилось бы удалить из его мозга центр страха. Я оцениваю его шутку по достоинству, однако не смеюсь, поскольку в этот момент мне вспоминается мой несчастный друг Хаваш, которому было всего двадцать два года, когда он умер от какой-то опухоли мозга (тогда я впервые услышал о том, что и такая болезнь бывает), я помню его последние дни, помню его искривленное лицо паралитика и судорожные подергивания щеки, когда он пытался улыбнуться. Мурашки бегут у меня по спине точно так же, как и тогда, – что за удивительный, пылкий, восторженный был человек, что за яркий талант! Дико было сознавать в те дни, что в своем загубленном мозгу он унесет с собой не только собственную жизнь, но и тот мой облик, который с такой любовью и пониманием был создан его мозгом, срисован, списан с меня: как это ужасно, ведь вместе с ним отчасти умру и я, умру так унижительно и глупо! Есть

ли смысл верить в себя и в других, если все обрывается так просто? Но затем я успокаиваю себя сохранившейся с детства и перешедшей в догму аксиомой, согласно которой подобный кошмар может случиться с кем угодно другим, но только не со мной.

Однако в семь часов и на том же месте, в кафе, с точностью минута в минуту, как и вчера, опять тронулись поезда.

Теперь я уже не поворачиваюсь к окну, зная, что шум, отдающийся в барабанных перепонках, рождается внутри меня.

Воспроизводя в памяти тот вечер, я в полном изумлении спрашиваю самого себя, как могло случиться, что впечатление от увиденного фильма не связывалось у меня с этим странным симптомом, с громким стуком, причиной которого (теперь-то я знаю) явилась учащенная пульсация артерии, носящей название *carotis*. Мне и в голову не пришло усмотреть в этом какую бы то ни было параллель, и я, слегка раздосадованный, сразу же решил, что у меня что-то не в порядке с ухом, возможно, жировые отложения скопились в слуховом проходе. Такие вещи мне не по душе, я люблю чистоту, к своим частям тела, которые красивыми уж никак не назовешь, я отношусь со столь же болезненным тщеславием, как киноактер или молоденькая женщина. Только, конечно, у меня хватает ума не выказывать этого тщеславия перед другими, а для успокоения своего интеллектуального самолюбия, кое протестует против того, что в борьбе за существование тело свое я считаю не менее важным, чем душу, у меня также имеется наготове очередная обобщающая теория. Я измыслил, будто бы живая плоть повсюду в природе носит двойственный характер, одна из сторон которого сугубо внутренняя, поддерживающая жизнь, или, скажем так, сексуальная. В соответствии с этим каждый орган нашего тела предназначен для двойной, совершенно разной цели и задачи: глаза – это не только орган зрения, но и заманчивая драгоценность, неугасимая лампада, безудержно влекущая к себе людей другого пола; уши даны нам не только для того, чтобы слышать ими, но и нежно теревить их в порыве страсти, а рот для юного влюбленного – не верхнее отверстие пищеварительного тракта, а воплощенный поцелуй. Ярче всего эта тенденция проявляется на примере половых органов: ведь с целью экономии они во всем животном мире неразрывно связаны с органами, удаляющими окончательные последствия пищеварительного процесса.

Всю жизнь я ретиво стремился разделять в себе эту двойственность, а потому наперекор тщеславию духовному (инстинкту самосохранения) позволил повиснуть на себе и плотскому тщеславию – балласту капризному, легко уязвимому и приносящему такие неисчислимые страдания.

И в результате на другой день, отложив все дела, не доделанные накануне, я явился в клинику, к известному специалисту-ушнику. Скромный, симпатичный молодой человек принял меня крайне радушно, пригласил к себе в приемный кабинет, где у нас с ним завязалась беседа и на научные темы, и врач, видя, что меня это интересует, даже дал мне почитать главу из своего будущего труда. За милой беседой он вставил мне в нос обмотанную на конце ватой длинную проволоку, которая через евстахиеву трубу проскочила в ухо. Стиснув зубы, чтобы не пикнуть, я делал вид, будто и не замечаю этой тортуры, а когда врач вытащил проволоку, я продолжил прерванную фразу. Под конец он мимоходом заметил, что у меня воспаление слухового прохода и этим вполне объяснимы мои галлюцинации. В свою очередь, я как профессиональный юморист с ходу рассказал ему историю об одной своей знакомой, туговатой на ухо, которой рекомендовали полечиться по поводу нефрита, а она, не расслышав отправилась к специалисту по невритам; лечили ее успешно, но при этом основная болезнь была запущена, и в результате бедняжка умерла из-за одной перепутанной буквы. Доктора очень позабавил этот мой экспромт на злобу дня.

Короткие недели и одно долгое мгновенье

«У работающего человека дни коротки, а жизнь долга». Мне еще со школы полюбилась эта поговорка, хотя я всегда чувствовал, что она в корне неверна и, что хуже всего, ее даже не повернешь наоборот. Но в ней важно то, что она парадоксальна, сама себе противоречит, а стало быть, в поисках истины ведет в нужном направлении; ведь по опыту я знаю, что к истине можно подобраться лишь с противоположной стороны, поскольку само реальное бытие складывается из борьбы положительного и отрицательного. Факт остается фактом, что в течение последующих трех недель, вплоть до первого апреля, я упорно работал и много времени проводил в беготне, однако дни мои вовсе не были короткими, я усиленно размышлял и говорил без умолку, мною овладело какое-то беспокойное, изнурительное оживление. Смутное чувство, будто мне что-то нужно сделать, будто я что-то забыл и поэтому мне нужно вернуться, будто бы я упустил нечто столь важное, ради чего стоило бы появиться на свет божий, – это настойчивое, подстегивающее к действию побуждение проявлялось в моей жизни довольно часто, но с такой непрекаемостью и упорством – никогда. «Надо бы тебе защитить диссертацию», – язвительно повторял я про себя, вспоминая своего друга Имре, который однажды признался мне, что в решающие моменты его бурной и исполненной превратностей жизни в душе его всегда звучал голос, внушавший ему, что, пожалуй, все же стоило в свое время защитить диссертацию, как того желали его родители. Но мне-то что нужно сделать? В перепутанном мотке шелка я пытаюсь отыскать ниточку, потянув за которую можно было бы распутать весь моток. Я вечно успокаивал себя аргументом, что, мол, если уж цепочка действий мысленно выстроилась в моем мозгу, то за какое бы звено я ни ухватился, от этого придет в движение вся цепь. По этой причине, к примеру, я написал такое колоссальное количество статей вместо того, чтобы создать один-единственный роман в тысячу томов, как собирался в детстве.

Один из приятелей-поэтов сформулировал эту мою черту так: я – в широком смысле – «ищу себя». Может, так оно и есть, но тогда кто он – этот «я сам», где мне отыскать его среди множества встречающихся на каждом шагу моих обличий, как узнать его среди прочих?

Как-то раз поутру без всякой причины я забредаю на рынок – слоняюсь в проходах между прилавками, глазею на груды овощей и фруктов; лохани с капустой, бочки огурцов радуют взгляд нежными оттенками желтизны и зелени. Подобно дорогим брюссельским кружевам висят потроха перед мясными лавками, сырны горы так и подначивают червем пробиться сквозь них, прорыв себе тоннель; розоватая плоть разрезанных пополам сомов взбухает на влажных досках. Мне часто казалось, что, в сущности, я чревоугодник – достойный потомок одноклеточной амебы, которая захватывает в себя все что ни попадя. Станным образом на сей раз я не испытываю аппетита и даже изменяю своей излюбленной привычке пробовать предлагаемый товар.

На следующий день я отправляюсь на бойню, убеждая себя при этом, будто бы собираюсь писать репортаж. Поспеваю к тому времени, когда забивают вола: тихонько мыча, он понуро жметя к стене, однако не выказывает сопротивления. Забойщик останавливается перед ним, расставив ноги и высоко подняв топор, а обреченный вол опускает глаза, словно стыдясь происходящего, однако смиряется с тем, что вынужден придерживаться заключенного с человеком уговора, согласно которому он отказывается от последних лет жизни ради того, чтобы первые годы провести без забот, без печалей на обильном пастбище. Топор опускается, и животное, тяжело ухнув, валится – точно грудa тряпья или охапка одежды, из-под которой выдернули вешалку. Я ухожу в дурном настроении, и никакого репортажа на эту тему не пишу – душа не лежит.

Ловлю себя на том, что проведываю давних знакомых, зачем-то повторно возвращаюсь в такие места, где и в первый-то раз чувствовал себя неудобно. Заказываю себе костюм, необычайно долго пререкаюсь с портным и в конце концов – пожертвовав задатком – отказываюсь от заказа.

Однажды утром бог весть как попадаю на Керепешское кладбище, где усердно втолковываю директору, до какой степени я против сожжения умерших (газеты вновь подняли вопрос о крематории), считая это насилием; ведь мертвое тело не настолько мертво, как нам кажется, во всяком случае, кто решится утверждать, будто бы в нем нет никакой необходимости: я имею в виду не природный обмен, не азот, нужный для растений, но вдруг рано или поздно обнаружится, что нам самим, нашей душе или той неуловимой субстанции, которую мы так называем, важно, чтобы она разлагалась именно так, медленно и постепенно, как ей и положено, – ведь не исключено, что эфемерно нежная материя астральных тел формируется именно из этих останков. Всю дорогу домой я казнюсь от стыда: директор теперь небось думает обо мне, будто я мистик и оккультист, а я лишь хотел объяснить ему, что всему свой срок и естественный темп явлений ускорять ни в коем случае не следует.

Так и проходят дни. Время от времени я хожу лечить уши, поскольку поезда внутри как начали ходить, так и ходят с тех пор регулярно, отправляясь каждый божий день ровно в семь часов вечера, я уже приобвык и не слишком обращаю на них внимание, иногда меня это даже забавляет, и я не огорчаюсь, что явление это не прекращается. Что ж, пусть их едут, эти поезда, глядишь, куда-нибудь и приедут.

Мы ужинаем у Х. вместе с давним моим приятелем – известным поэтом и стилистом, и еще одним весьма занятым человеком – невропатологом, с которым я тут и познакомился. Приятель мой – добропорядочный солидный человек – в свои пятьдесят лет ухитрился влюбиться; романтически молчаливый, скрытный, он ведет себя как во времена своей двадцатилетней юности, и даже лицом помолодел. После ужина мы выходим на улицу вдвоем с невропатологом. Я с завистью отзываюсь о нашем приятеле: еще бы, какую сенсацию вызвал он этой своей любовью, – и пораженный, узнаю, что он тяжело болен, у него серьезное органическое заболевание; однако на сей раз мне почему-то не приходит в голову привычная утешительная мысль, посетившая меня и во время просмотра узкоплечного фильма, – *мысль* о том, что со мной подобного случиться не может.

С невропатологом – он к тому же занимается и психоанализом – мы заходим посидеть в небольшой ресторанчик. Пьем красное вино. Мой новый знакомец – на редкость интересная личность, необузданная душа, сплошь начиненный оригинальными мыслями и идеями: высокий, дородный, с крупной головой и округлой детской физиономией, он напоминает мне одного из романтических героев Томаса Манна. Одно время, говорит он, его весьма занимало то, что я пишу, да и сам я интересовал его с точки зрения аналитической, на этот счет у него есть свое индивидуальное представление. Я, в свою очередь, рассказываю ему, где только не перебивал за последнее время и чем только не занимался, словно желая подвести итог, а между тем я отнюдь не принадлежу к числу натур, обращенных к прошлому, я и поныне верю в безграничные возможности человека и являюсь противником фатализма. Он, улыбаясь, качает головой и заверяет меня, что одно не связано с другим, но при этом говорит обо мне, как о некоем давнем писателе, о котором можно вынести суждение, цитируя его же собственные слова. Я жалуясь на поезда и участвовавшие за последнее время головные боли. Он проявляет чрезвычайный интерес, задает мне какие-то загадочные вопросы, затем совершенно неожиданным образом – дерзкими скачками мысли на манер всех психоаналитиков – определяет «диагноз», смысл которого сводится к тому, что шум в ушах и головные боли тесно связаны с моим характером, заветными мечтами и разочарованиями, с моими детскими воспоминаниями и некоей новеллой о мусорном совке, написанной мною двадцать лет назад. Домой я возвращаюсь в хорошем настроении; не такая уж глупая штука этот психоанализ, думаю я не без

некоторых угрызений совести, поскольку немало поизмывался над психоаналитиками; ведь по сути эти – с точки зрения несведущих людей – гротескные скачки от ассоциации к ассоциации и есть бережно-внимательное, точное описание болезни, и за ним не угнаться консервативному естествознанию, которое изучает лишь тело человека и продельвает с больным то же самое, что цыганки: под видом прогноза изрекает предсказания, если с человеком творится неладное; психоанализ никогда не впадает в подобную ошибку, его интересует лишь прошлое, а не будущее, которое, так или иначе, зависит от того, каковы намерения нашей непостижимой души. Тело, с точки зрения серьезного человека, – некое несущественное явление, рудимент, дурная одежда души.

На следующий день, сидя в кафе пополудни, я все еще нахожусь под впечатлением этого разговора. Даже с детскими переживаниями и совком для мусора психоаналитик тоже в точку попал – вот ведь стоило мне чуть выговориться, и уже полегчало. Головные боли тоже постепенно отпускают; телесные недуги, разумеется, всегда вызываемые душевным состоянием, проходят сами собой, если причина их своевременно осознается нами. Повреждение нанесено моей душе, стоит залечить его, и все войдет в норму. Недурно было бы заняться психоанализом. «Иди в психоанализ, Офелия», – рекомендует современный Гамлет своей возлюбленной. Смотрите-ка, даже мой прежний юмор ко мне вернулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.